

# Вера КОЛЮЧКОВА

Не спорьте  
со счастьем

женские истории



# Вера Александровна Колочкова

## Не спорьте со счастьем

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3134385](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3134385)*  
*Не спорьте со счастьем: Центрполиграф; М.: 2012*  
*ISBN 978-5-227-02325-4, 978-5-227-04647-5*

### Аннотация

Диля Салохова по отцу таджичка, а по маме – русская. С маленьким сыном Алишером она приехала в Россию из Душанбе. Диля сразу поняла – смотрят здесь на них, приезжих, с особым выражением лица... Но на родине жить девушке было больше нельзя, а тут негде и, собственно, не у кого. Как же понять, кто ты по национальности, когда лицо у тебя южное, а душа, характер – русские.

Однако сиротам, видимо, Бог помогает. Мамина подруга Таня Деревянко приютила, на работу устроила, а там случился в Дилиной судьбе большой поворот – очень ко двору пришлось она своей начальнице, крутой девице Ларисе. Но у богатых людей свои причуды...

# Содержание

\* \* \*

Конец ознакомительного фрагмента.

4

67

# Вера Колочкова

## Не спорьте со счастьем



Странно, ей совсем не было холодно. И даже сентиментальный озноб не пробрал, как ожидалось. Ей вообще было никак. То есть ни в одном глазу не торкнуло слезой отеческого дыма, который, следуя поэтическому определению, просто обязан был проявиться сладостными и приятными ощущениями. В самом деле, Отечество же! Родное, кровное. Пусть и в образе утреннего стылого вокзала. Еще ночью, лежа на верхней полке плацкартного, старческой дрожью исходящего вагона, представляла, как насквозь обрыдается, только-только шагнув на перрон... И еще думала, сильно замерзнет с непривычки. Октябрь все-таки. Кто ездил сюда, все дружно рассказывали, как мерзли первое время после тридцатиградусной душанбинской жары.

Высыпавшие из поезда и вмиг окаменевшие твердыми коричневыми лицами таджики деловито брели по перрону, сжавшись от холода, толкали ее со всех сторон. А она ничего не чувствовала. Действительно, очень странно. Не выдал организм ни единого старательно запланированного всплеска, ничего вообще внутри не было, кроме тревожной усталости,

взболтанной всмятку трехсуточной вагонной тряской.

– Диля, чего ты встала? Пойдем скорее! Холодно! Сама же просила вывести на автобусную остановку. Вон мама уже далеко ушла...

От писклявого голоска Ойнихол, пятнадцатилетней девочки-попутчицы, она вздрогнула, сжала в ладони мягкую ручонку Алишера. Он тоже будто застыл на месте, таращил в толпу невыспавшиеся темные глазенки.

– Алик, пойдем... Возьми вот этот пакет. Он легкий.

– А ты? Давай я лучше вон ту сумку понесу! У тебя же еще чемодан!

– Я сама ее понесу! Не поднимай! Поставь, я сказала! Пойдем, пойдем быстрее, а то отстанем...

Бестолково похватав свои пожитки, они потрусили вслед за толпой к черному провалу подземного перехода. На бегу Диля успела-таки привстать на цыпочки, торопливо отыскала среди голов красно-серебристый платок матери Ойнихол, повязанный тюрбаном вокруг головы. Надо бы ее догнать. Попрошаться по-человечески. Хорошие им с Алишером попутчицы достались. Душевные. Может, потому и душевные, что знали, куда едут. Муж и отец семейства прочно осел у местного хозяина, подрядившись охранять, а заодно и достраивать загородный дом. Оттого и жену с дочкой к себе давно выписал. Третий год уже на этих заработках живут. Даже в Душанбе умудрились съездить, родственников пови-  
дать.

А она, в отличие от них, «в никуда» приехала. Хотя и не совсем «в никуда». Здесь вообще-то мамина настоящая русская родина. Отечество. А раз мамино Отечество, то и ее, стало быть, наполовину тоже. Только оно об этом пока не догадывается, потому и сентиментальной встречи не получилось. Действительно, с чего это ради холодный уральский город должен встретить ее, по паспортным данным таджичку, открытыми ностальгическими объятиями? В паспорте же не написано, что ее мама, Мария Федоровна Коновалова, родом из этих мест. А сама она, дочка Марии Федоровны Коноваловой, хоть и числится от рождения Дилфузой Салоховой, город этот по маминым рассказам как свои пять пальцев знает. Но городу до этого ни жарко ни холодно – подумаешь, знает и знает... Ему бы на своих, на кровных эти объятия растянуть, а на чужих, приехавших искать хоть капельку трудового материального счастья, он, говорят, другими глазами смотрит. Сухими, административными глазами чиновников от миграции да глазами алчных до дешевиzny рабочей силы работодателей.

Да, так говорят. Порой с большой обидой говорят. Всякое про этот большой уральский город рассказывают. Как он встречает, чем кормит, как откровенно брезгливо глядит, как наживается на взятках и посредничестве, а потом административно и безжалостно выдворяет, как не слушает слезных причитаний про то, что кормить семью не на что, и дом строить не на что, и свадьбу детям играть тоже не на что.

Душанбинские мужчины – мужья, братья, отцы, сыновья – все равно ездили, добывали здесь насущное, кормили свои семьи. Она слушала чужие рассказы, замирала наполовину русской маминой душой и то ли не верила, то ли нарочито отстранялась, одновременно пытаясь выделить из полученной информации свое золото. Свою правду. Не должно быть так, как рассказывают эти люди. Не должно, и все тут.

Она, кстати, пока в поезде ехала, очень хорошую статью в журнале прочитала. Про наступающие времена толерантности. И про пресловутое «особое выражение лица» местного жителя прочитала, которое в той статье с проскальзывающим меж строчек юмором было описано. Якобы оно, это особое выражение лица, немедленно пропечатывается маской горделивой отстраненности, когда речь о таджикских гастарбайтерах заходит. Вроде того – нет нам никакого дела, зачем вы сюда «понаехали». Но в то же время так и прет, и ползет наружу брезгливое любопытство, и ничем его не удержишь, и даже вошедшими в моду рассуждениями о толерантности не удержишь. Ох уж эта толерантность, которую европейские свободомыслящие буржуи выдумали на бедные чиновничьи головы! И никуда от нее не денешься, и полагается теперь, если хочешь быть «аки они», европейцы то есть, напрягать лицо да прятать куда подальше свою брезгливую отстраненность, и чтобы она даже легкой гримаской пробегать не смела. Иначе запишут тебя в «отстой», в старую формацию, и вся карьера прахом пойдет. Вот и горит

некий чиновник демократическими стараниями, пучится толерантностью, а в итоге, если приглядеться, все равно выполняет наружу то самое особое выражение лица с припрятанной глубоко брезгливостью к цвету кожи, к акценту, к дешевой теплой одежде, к женским платкам на голове, к черным вязаным шапкам, напоминающим по форме тюбетейки. Нет, правда, хорошая статья попалась, молодец журналист...

– Э! Ты куда прешь, зараза, со своим баулом? Людей не видишь, что ли? Прямо по ноге проехала, мать твою...

От резкого толчка в плечо Дия чуть не упала, завалилась неловко на Алишера, неуклюже поддав ему по головенке сумкой. Выпрямившись, заморгала испуганно в лицо белобрысому парню в черной засаленной куртке.

– Извините... Извините, я задумалась...

– Подь ты к лешему! Нашла где думать! На базаре у себя в Ташкенте будешь думать! А здесь надо под ноги смотреть! Понаехало вас тут, черномазых...

Опа! Вот и первое приветствие тебе, дорогая, от родного наполовину города. Вот и вся тебе толерантность. Ишь, как злобно на нее этот белобрысый выверился. Хотя и не стоит он того, чтобы поспешные выводы делать. Не эталон. Кроссовки рваные, джинсы грязные, глаза на пыльном лице больные, и перегаром пивным несет. Нет, не эталон...

– А мы не из Ташкента приехали, мы из Душанбе! – подал снизу обиженную звонкую реплику Алишер. – И не ругайтесь на нас, пожалуйста, дяденька! Мама случайно вам на

ногу чемоданом наехала!

Парень обалдело моргнул, уставился на Алишера так, будто тот был не ребенком, а маленькой говорящей обезьянкой, потом оскорбился лицом, потом пробежало по нему удивленное презрение, упреждая уже проклюнувшиеся из этих эмоций матюки.

Диля матюков ждать не стала. Подхватив выпавшую из рук сумку, быстренько сдвинулась с места, увлекая за собой Алишера. Громоздкий чемодан глухо и спасительно загрохотал по неровным плитам подземного перехода, перекрывая отправленную ей в спину злую словесную грязь. Хотя Диле было уже не до нее – красный таджикский платок пропал из вида, и она замедлила шаг, принялась суетливо озираться по сторонам.

– Диля! Диля! Мы здесь! – вспорхнула над головами тоненькая ручка Ойнихол, и Диля резво рванула в ее сторону, одновременно ругнув себя за перепуганную суетливость. Что это она, в самом деле? Сама автобусную остановку не найдет, что ли? Можно же спросить, подскажут... Как-то мама интересно в этом случае выражалась, забавной такой русской пословицей... А, вспомнила! Язык до Киева доведет, вот как!

Ойнихол с матерью стояли на выходе из больших вокзальных дверей, переступали ногами в нетерпеливом ожидании.

– Вон туда, прямо, через площадь иди, – указала ей направление молчаливая полная таджичка-попутчица, мать

Ойнихол, – там переход будет, длинный такой, выйдешь, еще немного прямо пройдешь. Там автобус, троллейбус ходит. Сама спросишь, подскажут.

Диля покивала благодарно, улыбнулась на прощание Ойнихол. Хорошая девчонка. Жаль, скоро отец замуж отдаст. Всю дорогу девчонка ей хвастала – уж и с семьей жениха все обговорено, и свадьба на следующее лето назначена, к ее шестнадцатилетию. Ойнихол и видела этого жениха всего один раз, а радуется так, будто ей невероятное социальное счастье выпало. Еще и ее, Дилю, жалеть принялась – без мужа, мол, с ребенком на руках, едет одна в незнакомый город... Пропавшее создание, одним словом! Диля с ней и не спорила. Уже привыкла не спорить.

Не станешь же всякому рассказывать, что она не совсем таджичка и что живет у нее в душе строптивное неприятие к женскому по-таджикски замужнему счастью. С генами досталось. От русской мамы. Мама умерла, а гены остались – куда ж от них денешься.

Хотя в поезде попутчицам призналась, что она наполовину русская. Не утерпела. И даже попросила называть ее не Дилей, а Диной. Чтобы привыкнуть. Она давно уже для себя решила – как только сойдет с поезда, про Дилю забудет. Она Дина! Она русская! Ну, почти русская...

По привокзальной площади гулял холодный сырой ветер, несло гарью и невкусным прогорклым запахом жарящегося в масле теста. Огромные гранитные мужики на постаменте

гордо стояли черными лицами к городу, будто всматривались подозрительно в его суету.

– Мам, а кто они? – дернул ее снизу за руку Алишер, показывая на памятник.

– Не знаю... Пойдем скорее, холодно.

– А говорила, что все про этот город знаешь...

– Отстань, Алик! Смотри лучше под ноги. Вон, сейчас по лестнице в переход будем спускаться! Видишь, народу сколько? Того и гляди, затопчут...

Выйдя на автобусную остановку и кучкой сложив сумки вокруг чемодана, Дия распрямилась, перевела, наконец, дух. Надо постоять, собраться с мыслями. Хотя, наверное, и не стоит их собирать в одну кучку, эти мысли. Потому что, собранные в кучку, они тут же выдают общий тревожный сигнал – куда приехала, дурочка? Зачем приехала? Кто тебя ждет? Кому ты здесь нужна, полукровка? Да если б даже и «полная кровка» была, все равно никто бы не ждал...

Сердито мотнув головой, будто отгоняя тревожные мысли, она достала из сумки старую открытку с пышной веткой сирени на лицевой стороне, нарочито внимательно вгляделась в написанный справа адрес. Хотя чего в него вглядываться, она его давно наизусть знает, этот адрес со старой открытки, маминой рукой написанный. Улица Комсомольская, дом сорок три, квартира двенадцать. В строчке «Кому» аккуратно выведено имя – Таня Деревянко. Интересно, почему мама эту открытку не отправила? Забыла, что ли? Текст

вроде самый обычный – поздравляю с праздником Первое мая, желаю успехов в труде и счастья в личной жизни...

Про Таню Деревянко мама раньше ей много рассказывала. Подружились они в медучилище, жили в общежитии вместе, успели срастись юными душами. Потом разъехались по своим деревням, но письма друг другу писали длинные, подробные. Раньше принято было так – письма писать. Все про свою жизнь рассказывать. Мама смеялась – это, мол, целая эпистолярная наука была. Дневники чужой и своей жизни. Крики души. Порывы. Откровения. Особый такой вид дружеского общения.

А потом они, Таня и мама, практически одновременно замуж выскочили и чуть было не потеряли друг друга с переменной адресов. Таня нашла свою судьбу в лице приехавшего к ним в деревню «на картошку» слесаря Сереги Деревянко, прописанного в городе аккурат по адресу, что на открытке с сиренью, а маму увез в Душанбе врач-практикант Амирчон Салохов, окончивший местный медицинский институт, как тогда говорили, «по разнарядке» от советской республики-сестры Таджикистан. Мама догадалась отправить из Душанбе письмо Таниным родителям, и те не поскупились, отписали ей новый городской адрес дочери.

Они и потом, будучи разорванными расстоянием, долго еще переписывались, мама и Таня Деревянко. По-прежнему изливали на бумаге душу. Мама за эту письменную дружбу очень цеплялась, говорила, будто бы она единственной

ниточкой ее с прежней жизнью связывает. Хотя и было это странно насчет единственной ниточки. У мамы на родине, в глухой уральской деревне, сестра старшая осталась, но мама про нее никогда не рассказывала. И отец молчал. Он тоже мамину сестру знал, поскольку на практику его из института именно в ту деревню и отправили. Однажды Диля прямо с ножом к горлу к маме пристала – Расскажи да Расскажи про ту свою жизнь. Может, в гости в Россию, мол, съездим? Хочется же! Так, помнится, рьяно пристала, что мама, горестно от нее отмахнувшись, ушла плакать в другую комнату. Потом целую неделю будто не в себе ходила, вздыхала, за сердце держалась. Отец, когда узнал, строго-настрого Диле запретил даже заикаться на эту тему. Так и осталось для нее тайной мамино русское родство. Про город мама с удовольствием рассказывала, а про свою родную деревню – нет. Молчала всю жизнь, как партизанка. Ни письма из той деревни ни разу не пришло, ни открыточки. Действительно, даже зацепиться не за что. Только и можно теперь на душевную память Тани Деревянко уповать...

Вздохнув, Диля вынырнула из тревожных мыслей, огляделась. У кого бы спросить-то, как до улицы Комсомольской доехать? Вон разве у девушек вполне интеллигентного вида. Студентки, наверное. Симпатичные.

– Извините... Вы не подскажете?..

– Что? – резво отпрянула в сторону одна из девушек, даже не дослушав до конца Дилиного вопроса. Потом закаме-

нела лицом, как давешний парень из вокзального перехода, глянула настороженно. Что-то появилось у нее в лице в этот момент... нехорошее. Было, было там что-то еще, кроме настороженности, для Дили обидное. Может, это оно и есть, то самое «особое выражение лица», о котором толковал автор статьи из журнала?

– Так что вы хотели спросить? – вежливо улыбнулась ей другая девушка, глянув неодобрительно на подругу. И опять Диле показалось – слишком уж вежливо она улыбнулась. Подчеркнуто вежливо. Супервежливо. Как диктор Первого канала российского телевидения.

– Как мне до Комсомольской улицы доехать? Не подскажите?

– Охотно подскажем, – мотнула волосами назад девушка и чуть улыбнулась одними губами, одновременно посмотрев на Дилю как на пустое место. Будто в большое холодное зеркало погляделась, любясь своим супервежливым видом. – Вам надо сесть на тринадцатый автобус и доехать до остановки «Комсомольская». А потом выйти из автобуса. Я понятно объяснила?

Вторая девушка хмыкнула, глянула весело на подругу. Потом потянула ее за руку в распахнувшиеся двери подъехавшего к остановке автобуса. Диля грустно посмотрела им вслед, вздохнула тихо про себя. Значит, несколько не похожа она на русскую. Значит, и на ней проставлена невидимая метка «понаехали тут». Обыкновенная она Дилфуза Салохо-

ва, и не более того. Трудовая мигрантка – гастарбайтерша из города Душанбе. И вовсе уж никакая не Дина.

Но она теперь и не Дилфуза тоже! Так уж получилось. Кончилась Дилфуза, сбежала, скрылась бесследно, растворилась в русских просторах. А иначе нельзя было. Нельзя. Она уже тогда это поняла, как увидела под балконом душанбинской квартиры остановившуюся дядину машину. А вскоре раздался его звонок в дверь. Может, не надо было ему открывать? Хотя какая разница – все равно бы он ее достал...

– Мама! Что они тебе сказали? Чего ты молчишь, мам? Иди сюда... – вздрогнула она от долетевшего до уха голоска Алишера. Мальчишка послушно стоял около горки из вещей, не смея бросить свой пост и подойти к ней поближе. Видно было, как он замерз. Личико бледное, растерянное, жалкое. Тоже на русского не похож. Маленький таджик. Сын своего отца, которого никогда так и не увидел.

Будто толкнуло ее меж лопаток давешнее от своего неуклюжего материнства отчаяние – сразу захотелось поплакать. Прямо здесь, на остановке. Смотреть на своего сына и плакать. От любви, от жалости. Куда она его завезла и что с ними дальше будет?

Будто почувствовав ее почти слезное состояние, он улыбнулся широко, подпрыгнул на месте, помахал ей рукой, подзывая к себе. Вздохнув, она с трудом проглотила противный слезный комок в горле, успев то ли всхлипнуть, то ли глухо кашлянуть, шагнула, улыбаясь ему в ответ:

– Да все в порядке, Алька! Сейчас сядем на тринадцатый автобус, выйдем на остановке «Комсомольская».

– Так просто? Улица Комсомольская и остановка «Комсомольская»?

– Ну да...

В тринадцатый автобус они загрузились с проблемами. Подножка оказалась высокой, и Диля никак не могла втащить на нее свой чемодан. Алик стоял за спиной, пыхтел испуганно, бестолково норовил помочь, тыкался под руку, как щенок. Да еще суровая тетка-кондукторша покрикивала из салона хорошо поставленным командирским голосом – освободите, мол, двери, граждане! Или туда или сюда давайте! Нет, чтобы взять и помочь – орет, как беременная ослица...

Когда они, с грехом пополам обустроившись с вещами, плюхнулись на свободные сиденья, тут же перед ними грозной тучей нарисовалась кондукторша:

– Платить будем?

– Да, конечно... – засуетилась в поисках кошелька Диля. – А сколько билет стоит?

– Почему – билет? За проезд ребенка тоже платить надо!

– Хорошо.

– И за поклажу!

– Хорошо. Так сколько?

– А сама посчитать не можешь? Неграмотная, что ли?

– Почему же неграмотная... Вы мне скажите, сколько би-

лет стоит, я сама посчитаю. А из поклажи у меня только чемодан и сумка. Пакеты поклажей не считаются.

– Надо же, она еще и хамит!

«Сейчас обязательно добавит: понаехали тут...» – отстраненно подумала Диля, протягивая кондукторше сторублевую купюру. Кондукторша цапнула у нее из руки деньги, долго и сердито сопела, взглядом пересчитывая Дилины пакеты и шевеля губами. Потом дернула на себя потрепанный зазвеневший кошель, отсчитала сдачу, сунула ей в руку несколько мелких медных монет. Еще и глянула грозно – вроде того, попробуй только, поспорь со мной!

Диля спорить и не собиралась. Сил не было. Сбросив мелочь в карман куртки, вытянула руку, обняла Алишера, прижала к плечу. Кондукторша, будто огорчившись Дилиной покладистостью, грустно побрела по проходу, прижимая к пухлому животу свой кошель. И даже про «понаехали тут» не сказала. Что ж, и на том спасибо.

Автобус неторопливо, будто нехотя, потащился по широкой прямой улице. Диля тревожно всматривалась в дома, в спешащих по тротуарам людей, вздрагивала от голоса водителя, хрипло и тоже как будто нехотя провозглашающего название каждой следующей остановки. Город был чужим, неприятным, хмурым, дрожал в утренней сырой хмари, как большой бездомный пес. Хотя почему – бездомный? Это она здесь бездомная, а город, наверное, здесь всегда такой.

Суровый и неприступный. Ему не привыкать просыпаться

под этим свинцовым октябрьским небом, гнать своих жителей по рабочим местам. Счастливые они – жители этого города. У них рабочие места есть.

– Мам, смотри... Смотри, какие тут дома сердитые! Почему они такие сердитые? Им холодно, да?

– Нет. Им не холодно. Они привыкли.

– А почему они такие серые?

– Потому что мокрые. Потому что солнца нет. Вот будет солнце, и они повеселеют.

– И будет как в Душанбе?

– Ну, это летом, наверное... А сейчас осень. А потом будет зима, снег пойдет. Город от снега будет белым, нарядным. Красиво, наверное.

– А мы увидим снег?

– Хм... Надеюсь...

Да уж, вопрос интересный, конечно, увидят ли они снег. Должны увидеть. Кровь из носу, а должны. Потому что возвращаться нельзя. Некуда.

Тревожное отчаяние снова шевельнулось под ложечкой, поползло к горлу, к глазам, и пришлось напрячься всем телом, сердито вздохнуть, отправить его обратно. Этого ей сейчас не хватало – дать волю отчаянию. Лучше молитву вспомнить да прочитать ее мысленно, как мама учила. И попросить для себя немного удачи. Самую капельку, много и не надо. Всего несколько пунктов. Во-первых, чтобы мамина подруга Таня Дервянко место жительства не поменяла. Во-

вторых, чтобы не выставила ее за порог. В-третьих, чтобы согласилась ее временно у себя зарегистрировать. Разве это так много – три пункта? Совсем даже немного. А без регистрации ей никак нельзя. Без регистрации на учет в миграционной службе не поставят, и они с Алишером будут нарушителями закона. Нелегальными мигрантами, подлежащими немедленной депортации.

Господи, сделай так, чтобы Таня Деревянко жила по адресу, что на открытке. Господи, сделай так, чтобы она была дома. Она не должна отказать, она добрая, она такие письма хорошие писала. Жаль, они не сохранились, потерялись где-то после маминой смерти. Господи, помоги встать на учет в миграционной службе. Очень нужно. По закону после этого можно здесь три месяца жить, можно за это время работу найти, можно комнатку снять... А там видно будет, Господи...

– Мам, ты чего шепчешь? Ты боишься, да?

Она и не заметила, что Алишер отвернулся от окна и смотрит на нее испуганно. Всегда у него личико меняется, когда он чего-то боится. Круглые щеки опадают, глаза будто прячутся вглубь, и ладошки становятся холодными и влажными. Встрепенувшись, она тут же изобразила на лице спокойствие и уверенность и даже сумела улыбнуться весело и довольно бодренько.

– С чего ты взял, что я боюсь? Ничего я не боюсь.

– А почему глаза закрыла? И губы у тебя дрожали, будто

ты плакать собралась?

– Алька, отстань! Посмотри лучше, как за окном интересно! Смотри, какие деревья вон у того дома с колоннами растут... Видишь? Это голубые ели. У нас таких нет.

– Елки, что ли? Как в Новый год? Так они же не настоящие!

– Нет уж, здесь они самые настоящие, Алька! Это у нас была елка искусственная, мы ее каждый год с антресолей доставали и наряжали.

– А мы Новый год здесь будем встречать, да?

– Ну конечно здесь. Мы же с тобой решили уже, что навсегда сюда приехали. Что нам будет трудно, но мы все вытерпим... Помнишь?

– Помню... – важно кивнул мальчишка. – Помню, мамочка. Ты не переживай. Я все знаю.

И опять внутри дрогнуло от этого по-взрослому прозвучавшего «я знаю». Действительно, знает. Шесть лет живет в одних сплошных трудностях, в безотцовщинах, в постоянном безденежье. Даже в детский сад никогда не ходил — дома сидел с бабушкой, которая ему русские сказки рассказывала и говорила с ним только по-русски. Как и с ней, когда она была маленькой. А потом умерла у него на глазах. Но лучше об этом не думать, не думать... «Прости меня, мамочка, я пока не буду о тебе думать. Иначе заплачу».

– Видишь, по какой красивой улице мы едем? Это самая главная улица в городе, центральная. Бабушка, когда моло-

дая была, здесь любила гулять.

– Ой, смотри, мам... Какой дом красивый! Как дворец из книжки!

– Нет, это не дворец... Это, по-моему, старинный купеческий дом должен быть, еще до революции построенный...

– До какой революции? До войны, что ли? Здесь тоже война была? Как у нас в Душанбе?

– Нет. Это не такая война была.

– А какая? Коммунистическая? Когда все хорошо было, а потом плохо стало?

– Алька, боже мой, какая у тебя каша в голове!

– И ничего не каша! Бабушка мне рассказывала, что когда-то давно, при коммунистах, здесь все хорошо было. А потом плохо стало.

Сидящий перед ними мужчина с крепким бритым затылком обернулся, глянул на Алишера заинтересованно. Ничего не сказал, только хмыкнул, снова отвернулся. Они переглянулись испуганно, и Диля прижала палец к губам – молчи, мол. Автобус заскрипел, задрожал натужно, разворачивая длинное двойное тулово на перекрестке, быстро поехал уже по другой улице, не так запруженной транспортом. И дома здесь были уже не такие монументальные. Обычные были дома, панельные, стояли в строгом ряду, окруженные наполовину облетевшими тополями. На остановке забралась в автобус бабушка с палочкой, и Диля торопливо подскочила, уступая ей место. Бритый затылок впереди снова зашеве-

лился, повернул голову, глянул на нее с удивлением, будто она что не так сделала. У них, видимо, не принято старикам место уступать? Другие национальные традиции? Странно, а ей казалось, что простое уважение к старости никакого отношения к традициям не имеет. И мама ей об этом ничего не рассказывала...

– Спасибо. Спасибо, деточка... – благодарно ворковала старушка, пристраивая около себя свою палку. – Это твой парнишонка, да? Славненький какой парнишонка, чернявенький.

– Остановка «Академическая». Следующая – «Комсомольская», – равнодушно прошипел динамик водительским голосом.

– Ой, простите... Простите, нам выходить на следующей надо! – наклонилась Диля к старухе. – Давайте я вам встать помогу, мне чемодан надо вытащить... Алька, давай скорее! Бери сумки, иди к выходу!

Как только они выгрузились из автобуса, пошел дождь. Мелкий, холодный, едва заметный. Приглядевшись, Диля рассмотрела на одном из домов синюю табличку – «Улица Комсомольская, 13». Вздохнула тяжело – ничего себе, сколько надо до дома под номером сорок три волочь за собой чемодан... Хотя это вовсе и не беда. Его можно и пять километров за собой волочь, только бы Таня Деревянко дома оказалась. Было бы неплохо, если б она по этому адресу вообще как таковая оказалась. А вдруг она давно уже съехала? Квар-

тиру поменяла, в другой город переселилась? Наверное, надо было и впрямь ей сначала письмо написать...

Хотя – нет. Эта мысль у нее сразу, первым делом появилась, чтоб написать письмо. А потом она передумала. Напишешь, а потом ответ придет – извините, мол, не могу вас принять, уважаемая дочь моей подруги юности Маши Коноваловой. В письменном виде всегда отказать легче. Лучше уж так, как снег на голову. Между прочим, их русские соседи по душанбинской квартире так и сделали: когда войной в городе запахло, собрались в один день и уехали к родственникам без предупреждения. Тоже испугались, что если попросятся – откажут. Потом от них письмо пришло – с горем пополам устроились. Если по совести, им бы с Алишером тоже следовало к родственникам махнуть, ведь имеются же такие! Где-то живет в этих местах мамина старшая сестра, ей, стало быть, теткой приходится. Она только и знает, что зовут ее Зинаидой, тетей Зиной, значит. Имя-то какое хорошее – Зинаида! И чего они там с мамой не поделили, интересно? Даже адреса не осталось. Вообще никакой информации не осталось. А может, Таня Деревянко этот адрес знает? А что – вполне! Они же подругами были, все друг о друге знали.

– Мам, а нам еще долго идти? – вывел ее из задумчивости голосок Алишера.

– Ты устал, сынок?

– Нет... Совсем не устал. Я просто так спросил.

– Ну, тогда давай вместе считать... Нам какой дом нужен?

– Сорок третий.

– Правильно. А сейчас мы проходим около двадцать пятого. Сколько еще домов надо пройти?

– Восемнадцать! – подумав всего полминуты, весело сообщил он ей, глянув из-под козырька джинсовой бейсболки.

– Думай, балда! Дома на этой стороне улицы нечетные, а на другой – четные!

– А... Понял! Тогда – девять! И вовсе я не балда. Балда – это работник из сказки, который попа обманывал. Не знаешь, что ли? Мне бабушка давно читала.

– Да знаю, знаю... Меня бабушка в детстве тоже балдой звала, когда сердилась. А в общем, ты молодец. Хорошо считаешь. В школу пойдешь, сразу отличником будешь.

– А потом?

– Что – потом?

– Ну, после школы... Что я потом буду делать?

– Потом... Потом ты в институт поступишь! И окончишь его с красным дипломом!

– А у тебя диплом есть?

– Нет. У меня нету.

– А почему?

– Я не успела институт закончить. Только два курса проучилась. Бросила.

– Почему?

– Потому что ты родился. Потом мой папа, твой дедушка, умер. Потом... Не важно, в общем. Ты не замерз?

– Нет. Нормально.

– Давай я сумку понесу!

– Нет. Я сам.

– Ну, сам так сам... Расскажи мне тогда что-нибудь.

– Хочешь «Медного всадника»? Мы с бабушкой учили.

– Хочу. Давай валяй «Всадника».

Положив на грудь руку и старательно прокашлявшись, он вздернул вверх голову, перехватил сумку с одного плеча на другое, вздохнул и звонко, очень торжественно начал декламировать:

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел. Пред ним широко  
Река неслася...

Диля изо всех сил сжала губы, чтобы не улыбнуться ненароком. А может, чтобы не заплакать.

Слишком уж грустно-комично выглядел Алька на этой безлюдной чужой улице, осыпанной мелким дождем, – замерзший маленький таджик с котомкой через плечо и с Пушкиным на устах. Но ничего, пусть вдохновляется. Так и дороги не заметит. Язык до Киева доведет, а Пушкин до дома номер сорок три по Комсомольской улице. И к чему она его способности будет дальше «приспосабливать», интересно? И память у него отличная, и соображает быстро, и схватывает все на лету.

Она, кстати, тоже в детстве, мама говорила, очень большие способности проявляла. И в школе хорошо училась В обыкновенной душанбинской школе, что на улице Колхозной в Гиссарском жилом массиве. В их классе, помнится, много русских ребят было. А потом, когда в городе путч начался, занятия в школе прекратили. Потом вернулись – никого из русских почти не осталось. И учиться она хуже стала. Не в том смысле, что поглупела, а от страха, наверное. Сидела тихой мышкой, не высывалась. Так мама велела. Мама и в школу на собрания больше не ходила – папу просила. Он уважаемый был человек. Врач. Хирург. С виду гордый, неприступный сын Памира, а на самом деле добрый и тихий человек. Если бы мама тогда не подкосила его известием о дочкиной беременности, может, и сейчас был бы жив, как знать...

Нет, стоп. Нельзя ей сейчас об этом думать. Нельзя цепляться за прошлое, хоть оно и норовит проникнуть во все щели. Удивительно, как настырно оно о себе напоминает – вроде и момент для этого самый неподходящий. Холод, дождь, длинная улица, неизвестность. Надо собираться с силами, надо определяться с судьбой, надо сжимать себя в твердый комок, а она вместо этого в воспоминания ныряет, как в спасительный теплый омут. Нет, не осталось ничего в теплом омуте! Высох давно! Вперед, вперед, к дому номер сорок три...

Дождь неожиданно кончился, и слабые солнечные лучи

нерешительно пробились сквозь холодный сырой воздух, заиграли желтизной листьев, жалко сгрудившихся у кромки тротуара. Диля остановилась на секунду, подставила под солнечный луч лицо. Ах, как хорошо! Вот так и стоять бы на месте соляным столбиком, и никуда не идти, не определять свою новую судьбу. Потому что страшно. Сил нет, как страшно подходить к дому номер сорок три. Чем ближе, тем страшнее.

Алька меж тем все строчил своего «Медного всадника», даже рукой размахивал себе в помощь. Она однажды у мамы спросила: почему именно Пушкин? Ее тоже в детстве Пушкиным пичкала, и Альку вот... А мама ответила – Пушкин, он везде Пушкин. Что в России, что в Европе, что в Азии. Везде, мол, пригодится, куда судьба ни занесет. Ну вот, занесла. И что? Как им поможет Пушкин? Разве что длинный путь скоротать?

Попавшаяся навстречу пожилая женщина удивленно уставилась на декламирующего Альку, потом улыбнулась недоверчиво, покачала слегка головой – непонятно было, то ли одобрила, то ли осудила. Диля повернула к сыну голову, вслушалась...

...И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова.

– Мам, а кто это – порфиноносная вдова? – не меняя своей декламирующей интонации, вдруг спросил Алька.

– погоди, сынок... Потом. Мы с тобой пришли, кажется. Вот он, дом сорок три.

– Так пойдем?

– Нет. погоди. Давай присядем на минуточку, отдышимся. Я хоть в порядок себя приведу. Вон, я вижу, там скамейка есть...

На самом деле она вовсе не запыхалась, и в порядок было приводить нечего. Просто накатила очередная волна страха, подступила тошнотой к горлу. Живо представилось, как они звонят в дверь квартиры Тани Деревянко, как дверь открывают незнакомые люди, и ни о какой Тане Деревянко они отродясь слыхом не слыхивали...

Тяжело плюхнувшись на скамейку, она откинулась на спинку, почувствовала всем телом ее холодную набухшую влажность. Нет, на этой скамейке долго не усидишь. Надо вставать, надо идти. Но сил идти не было.

– Мам, пойдем... Скамейка мокрая, ты простудишься.

– Да. Сейчас. Немного посижу, и пойдем. Я не простужусь, ты не бойся. Достань там печенье, перекуси...

Пошарив в сумке, она извлекла на свет открытку с сиренью, принялась вчитываться в давно уже выученные наизусть строчки: «Дорогая Танюша, поздравляю тебя с праздником Первое мая...» Картонный квадратик обтрепался на уголках, неровные мамины строчки прыгали перед глазами,

написанный с правой стороны адрес Тани Деревянко выпучился, будто кто приложил к нему сильную объемную линзу. Или это слеза у нее в глазу застряла? Опустив голову, она быстро сморгнула ее, чтобы Алька не заметил. Потом перевернула открытку, принялась со вниманием разглядывать пышную сиреневую ветку. И даже ладонью по ней слегка провела, будто просила определить-таки местонахождение Тани Деревянко по указанному адресу. Будто в силах была ей дать такие гарантии сиреневая ветка на старом глянцево-м кусочке картона. Обыкновенная ветка, обыкновенная открытка...

\* \* \*

Жизнь у них в доме сразу менялась в плохую сторону, когда мама получала письмо или открытку от Тани Деревянко. В детстве Диля ужас как боялась этих писем, а один раз, возвращаясь из школы и заметив, как выставился в дырочки почтового ящика белый конверт, даже решила взломать хлипкий замочек и разорвать этот конверт к чертовой матери. На мелкие клочки. Только ничего у нее не вышло. Застала ее за этим занятием соседка по лестничной площадке, потом еще и отцу нажаловалась. Правда, он маме о Дилином преступном попользовании ничего не сказал. Просто отдал письмо, и все. Хотя Диля и подозревала, что делать ему этого вовсе не хотелось.

Мама всегда сначала плакала над конвертом, прежде чем распечатать его. Потом уходила с ним в комнату, закрывала за собой дверь. И будто выключалась из жизни на несколько дней – ходила по дому сомнамбулой, обед не варила, отцовых рубашек не стирала, к Диле с воспитанием не приставала. Они с отцом даже успевали привыкнуть к этой временной беспризорности. А потом наступал святой день – мама садилась ответное письмо писать. Со слезами, длинными вздохами, долгим стоянием у окна и трагическим переплетением рук на животе, будто у нее там что-то болело сильно. Хотя Диля с папой совершенно точно знали – ничего у нее там не болело. У них в этот день своя задача была – чтоб не сплеховать и под руку к ней ни с одной домашней проблемой не подлезть. Надо было вести себя тихо и просто ждать завтрашнего дня, когда поутру сбросит мамина рука конверт с ответным письмом в щель голубого почтового ящика, что висит справа от дверей большого продовольственного магазина на улице Колхозной. И все. Казалось бы, просто. И тем не менее Диля не удерживалась, каждый раз ее тянуло с отцом на эту тему поговорить.

– Пап... Почему мама письму не радуется? Ей что, плохое что-то пишут, да?

– Нет. Плохого ей там не пишут. Это же от подружки письмо – чего там может быть плохого?

– Тогда почему она плачет?

Когда Диля была маленькой, он всегда одинаково отвечал

на этот вопрос – у мамы голова болит. А потом, когда Диля подросла, начинал размазывать свои объяснения, как масло по горячему хлебу. Вроде и намазал щедро, а масла уже нет, и непонятно, что ешь, то ли хлеб с маслом, то ли просто жирный мокрый мякиш...

– Понимаешь ли, доченька. Мама у нас очень хорошая, просто ей жить здесь трудно.

– Почему? Мы же с тобой живем!

– Ну да. Мы здесь родились. Нам легко. А у мамы душа там осталась, на родине. Там все другое – и люди другие, и еда, и воздух. Плохо ей здесь, понимаешь?

– А зачем поехала, если плохо? Надо было там и оставаться!

– Она не могла, доченька.

– Она полюбила тебя, да? Как лягушка Ивана-царевича?

– Ну... будем считать, что так. Как лягушка.

– А ты?

– И я полюбил.

– А почему ее дедушка с бабушкой не полюбили? Что она им сделала?

Папа вздыхал, каменел твердым усталым лицом, торопливо совал ей под нос тарелку с ужином.

– Пап, ну почему? Они не хотели, чтобы мама твоей женой была, да? Не понравилась она им?

– Да при чем здесь не понравилась... Тут другое, дочка.

– Какое – другое?

– Ну, как бы тебе объяснить... Мы по-настоящему с мамой пожениться не можем, понимаешь? Так, как хотят бабушка с дедушкой.

– Так вы, что ли, совсем не женатые? Вообще? – тарасила она на него удивленные глаза.

– Почему? Мы женаты! В паспортах штампики стоят, как полагается. Нам их там как раз и поставили, на маминой родине.

– А у вас и свадьба была?

– Нет. Свадьбы у нас не было. Мы только зарегистрироваться успели.

– Хм... А чего тогда свадьбу не справили? Вы же обратно уже не разженились, если я родилась? Чего бабушка с дедушкой от вас хотят-то?

– Да ничего они не хотят, Дилия... И вообще, отстань от меня! Зря я с тобой этот разговор завел. Маленькая ты еще.

– А если они ничего не хотят, почему ни разу в гостях у нас не были?

– Они старенькие уже, чтобы по гостям разъезжать. Зато к нам дядя Баходур в гости приходит. Ты любишь дядю Баходура?

– Не-а. Не люблю.

– Почему?

– Потому что его мама не любит... У него глаза улыбаются, а на самом деле они – злые и хитрые! И еще потому, что он милиционер!

– Какие ты глупости говоришь, Диля! Самые настоящие глупости! С чего ты взяла, что мама его не любит? Все в одну кучу свалила! Дядя Баходур – мой родной брат, и по одному только этому обстоятельству ты должна любить его! Погоди, я вот поговорю с мамой...

Папа сурово сводил широкие черные брови к переносице, оглядывался на дверь комнаты, где плакала над письмом от Тани Деревянко мама. Диля знала – ни о чем таком он с мамой разговаривать вовсе не станет. Очень добрым человеком был папа, нисколько она его не боялась. И в больнице, где папа работал главврачом, его тоже никто не боялся. Мама иногда, сердясь, даже выговаривала ему, что все врачи и медсестры якобы готовы сесть папе на голову и свесить ножки, и Диля помирала со смеху, представляя, как они там у папы на голове все помещаются.

– Пап! А почему дядя Баходур к нам в гости приходит, а мы у него дома ни разу не были?

– Почему? Я был...

– А почему мама с нами к дедушке и бабушке в Хорог ни разу не съездила? Давай ее в следующий раз уговорим с нами поехать! Там же очень красиво, там горы... Она даже Памир ни разу не видела...

– Не надо маму уговаривать, Диля. Не приставай к ней с этим.

– Почему?

– Ну... Во-первых, потому, что она дорогу в Хорог плохо

перенесет. Укачает ее, понимаешь? А во-вторых...

Отец вздохнул, опустил плечи, застыл над своей тарелкой и замолчал, провалился куда-то мыслями, будто и не было его здесь. И лицо вмиг стало виноватым, отрешенным и совсем беззащитным; казалось, еще немного, и он очнется и примется потерянно извиняться перед ней неизвестно за что. Диля заерзала на стуле, пытаясь таким образом вытянуть шею, чтоб заглянуть ему в глаза и улыбнуться ободряюще. Не любила она у папы такого лица. Тревожно ей становилось от такого лица, неприятно. Ладно, мама плачет над письмом, это еще куда ни шло.

Чего с нее возьмешь – она женщина. Пусть. А папа не имеет права проваливаться мыслями и отрешаться лицом! Хотя бы в такие дни, когда мама плачет...

– Пап... Пап, ты чего? Ешь, у тебя все остынет!

– Да, доченька, да... Конечно, доченька! – тут же улыбался он ей, быстро моргая короткими густыми ресницами. – Так о чем мы с тобой говорили?

– О том, что мама дорогу в Хорог не переносит...

– А, ну да! Ну конечно! Сама вспомни, как ты в прошлый раз боялась над горами на самолете лететь? Забыла? Помнишь, как со страху мне абрикосовым соком все штаны залила?

Он засмеялся легко, и трещинки морщинок весело побежали из уголков глаз, и она тоже засмеялась в ответ, и сразу стало внутри хорошо и спокойно, и это даже ничего было,

что мама за дверью плачет, и ничего, что она к бабушке с дедушкой опять не поедет. И пусть не ездит, подумаешь. Перелет из Душанбе в Хорог над горами – даже для «нервного самоубийцы нелегкое испытание», как выразился однажды сидящий за ними в самолете русский парень-турист, неловко сминая бумажный гигиенический пакет. Бедняга, он даже в иллюминатор толком не смог посмотреть. А там было, было на что посмотреть – этот прекрасный и ужасный восторг Диля испытала тогда еще, в шестилетнем возрасте, когда отец впервые повез ее к бабушке с бабушкой. Внутри все леденело от страха и в то же время пело на одной высокой и счастливой ноте, и непонятно было, чего в ней в тот момент было больше, страха или полного счастья. А может, это было единое ощущение, цельное, чистое, будто жгучее острое перемешали с приторно сладким и образовался новый продукт, неожиданно вкусный и пряный. В течение часа самолет гордо и бесстрашно скользил над холодными долинами, чуть не цепляя плоскостями склоны гигантских горных пиков и пролетая над ними так низко, что Диля с восхищенной опаской успевала замечать, как за крыльями поднимаются белые снежные вихри. А однажды ей даже показалось, что острая черная скала неумолимо приближается к иллюминатору, и она закрыла глаза в ужасе и всем телом припала к папиному теплему боку... А папа в самолете спокойно спал. Папа ничего не боялся. Когда она его растормошила, поморгал сонно, выглянул в иллюминатор, зевнул. Потом пробормо-

мotal что-то – вроде того, за последние тридцать лет по статистике не случилось в этих местах якобы ни одной авиакатастрофы...

А потом она и сама к этим перелетам привыкла. Не было уже того первого остро-сладкого, захватывающего дух страха. Хотя нечто подобное и пришлось еще раз испытать там же, на Памирском шоссе, когда грузовая машина везла в кузове их студенческий отряд из Хорога в Ош и зависла передними колесами над пропастью. Правда, их в одну секунду вынесло из кузова – попрыгали на дорогу, как резвые кузнечики. Она и не помнит, как рядом с ней оказался тогда Алишер – вроде сидел у заднего борта, а она – у самой кабины. У них в то время и близко не намечалось никаких отношений. Так, переглядывались иногда. По-дружески. Однокурсники все-таки. Он вообще был до ужаса скромным, долго к ней не мог подойти. Это уж потом взаимные чувства костром разгорелись, когда на следующий год задумали они осуществить по этим же местам самостоятельный пешеходный маршрут... И никто их не остановил, главное. Никто не мог предположить, как это все стремительно закончится, затянется в жгучий больной узелок ее с Алишером любви и скорой его гибели в горной быстрой речке, а потом, уже дома, последствия этого состоявшегося, но не успевшего объявиться законным супружеством чувства всплывут наружу позором для ее семьи. Никто уже о той любви и не думал, и не вспоминал, когда она решала в одиночестве, как

ей быть со своей невидимой пока постороннему глазу внебрачной беременностью. Конечно, у нее выбор был. Можно было от маленького Алишера отказаться. И сроки медицинские позволяли, и папа бы все устроил как надо. Тем более родители того, погибшего Алишера ничего про потенциального внука знать не захотели. А может, это обидное обстоятельство как раз на ее решение и повлияло. Раз так, то пусть маленький Алишер будет. Как память о том, любимом и безвозвратно ушедшем. Ее Алишер, ее память, собственная. Она и отца с мамой решила не посвящать в свое беременное щекотливое положение, помалкивала, сама по себе замкнувшись внутри. Нет, они ее жалели, конечно. Еще бы – у дочки первая любовь так трагически оборвалась. И в университете ее жалели. А потом как раз мятеж в Худжанте случился, тема эта везде стала главной, пугающей и трепетно обсуждаемой в первую очередь, потому что все боялись повторения той ужасной войны, вспыхнувшей пламенем из черного октября девяносто второго года. И она тоже ту войну помнит по серым подвальным стенам папиной больницы, где спасалась вместе с мамой то ли от людей, то ли от пуль, и мама крестилась мелко и суетливо, прижимая ее голову к животу.

Родители, впрочем, сами догадались, когда живот у нее на нос полез. Мама, как обычно, плакать принялась, а папу сразу на седину пробило. Сник, постарел, смотрел в торжествующие глаза пришедшего обсудить эту новость дяди Ба-

ходура, как виноватый и принявший на себя законное наказание преступник. О чем уж они там поговорили, Диля не знала. А только папа в Хорог больше не полетел. И о бабушке с дедушкой разговоров с ней больше не заводил. А жаль. Диле казалось, что они ее почти полюбили, бабушка Назира и дедушка Мاستибек...

Да, именно так, почти. Потому, если уж говорить по большому счету, она не особо к ним и рвалась. Поцарапывалась внутри едва заметная, практически неуловимая обида, похожая скорее на мимолетное ощущение, что они ей не совсем бабушка с дедушкой, а... именно так, почти. Радовались, когда она с отцом приезжала, – почти, были с ней ласковы – почти, любили – тоже почти. Во всем это легкое обидное «почти» чувствовалось. Так ведут себя хозяева с приехавшим на каникулы дальним и незначительным племянником: вежливо его привечают, заставляя себя улыбаться, и в то же время присматривают за ним брезгливо исподтишка – как бы не испортил чего ценного. Нет, внешне она никак обиду на это «почти» не проявляла. Наоборот, втайне гордилась тем, что сильно отличается от своих двоюродных и троюродных сестер и братьев, которых в забытом кишлаке под Хорогом водилось великое множество – у папы и дяди Баходура было еще четыре брата и две сестры. Все это родственное сообщество рассматривало ее несколько презрительно, но и с большим любопытством, взхлеб, как диковинку, ело настояренными глазами ее короткую клетчатую юбку в складку,

ее мальчишескую стрижку, ее белую безрукавку с лихой английской надписью на спине. Братья и сестры таких прикидов не носили. Девочки не стригли волос. А повзрослевшие девочки обязательно надевали хиджаб и нигде после школы больше не учились – ждали, когда их родители замуж выдают. А развлекались одним занятием – смотрели, как бабушка Назира лепит руками свои бесконечные горшки.

Отчего-то это занятие у них особо почиталось – горшки руками лепить. И непременно каждой матери полагалось обучить дочерей этой же процедуре. Поначалу, когда Диля еще совсем маленькой была, она очень удивлялась – почему взрослые женщины с таким увлечением этим игрушечным делом занимаются? Может, это они не всерьез делают? Хотя лицо бабушки Назиры было всегда преисполнено торжественностью момента, когда она расстилала во дворе дома кошму. А двоюродная сестрица Фатима с таким же лицом несла ей из сарая ком глины. Бабушка важно брала его из внучкиных рук, трогала со всех сторон, будто оглаживала, потом бросала на фанерку, отрывала кусок и начинала раскатывать меж ладоней длинную толстую колбасу, вся сосредоточившись на этом занятии. Диля, про себя усмехнувшись, тут же вспоминала, как точно так же, бывало, дома из пластилина поделки лепила, оглядывалась на рассеявшихся на земле вокруг кошмы сестер – не улыбаются ли они про себя так же, как она, этой бабушкиной серьезности.

Сестры не улыбались. Наоборот, зачарованно наблюдали

за бабушкиными руками, будто ждали от нее какого-то циркового фокуса. Бабушка меж тем, раскатав одну колбасу, бралась за следующую. Когда их уже много накапливалось, начинала выделять из каждой что-то вроде заготовок для будущего кувшина – вот его туло, вот горловина, а вот эта колбаса, которая поменьше и потоньше, стало быть, ручкой будет. Нет, ну все точно так, как поделка из пластилина лепится! Осталось разгладить пальцами швы – и нате вам, готовый кувшин.

– И все? И больше ничего не будет? – наклонившись к уху сидящей рядом Фатимы, разочарованно спросила Дия.

– А что еще? – удивленно подняла на нее темные карие глаза Фатима. – Сейчас мы его на солнышко отнесем, он должен отдохнуть. А потом в костре обжигать будем. Ты смотри, смотри, интересно же...

– А на что смотреть?

– Как бабушка новый кувшин будет лепить...

– А что, она как-то по-другому его будет лепить?

Фатима сверкнула на нее сердито глазами, махнула рукой и тут же потупилась под строгим взглядом бабушки Назиры. Так и осталось непонятным для Дили, за что она рассердилась на Фатиму – то ли за то, что позволила себе разговоры во время «урока», то ли проявила внешнее недовольство ее, Дилиной, бестолковостью...

А на другой день процесс пошел уже интереснее – бабушка принялась отдохнувшие и в костре обожженные кувши-

ны расписывать. Так же важно уселась на свою кошму, разложила вокруг себя кисточки, поставила большую пиалу с темной, как показалось Диле, дурно пахнущей жидкостью.

– А что у нее там? – тихо спросила Диля у Фатимы, показывая подбородком на пиалу. – Краска, что ли?

– Нет, это не краска, девочка. Это я специальную глину растворила, она тоже похожа на краску, – ответила вместо Фатимы бабушка, ласково улыбнувшись. То есть почти ласково. А может, преувеличенно ласково.

Диля даже поежилась слегка, кожей почувствовав бабушкину неискренность. Непроизвольно подтянув ближе к коленям складки короткой юбки и спрятав глаза за длинным козырьком кепки-бейсболки, принялась рассеянно наблюдать, как бабушка наносит на светло-серую глиняную поверхность кружки, точки и штрихи, соединяя их одной линией. Краска моментально подсыхала, приобретала красноватый оттенок на сером глиняном поле, которого уже и видно практически не было из-за густого орнамента. «А красиво получилось...» – отрешенно подумала Диля, прищуривая глаза.

– Этот кувшин я твоему отцу подарю, моему второму сыну Амирчону, – словно услышав ее мысли, повернула к ней бабушка голову.

– Спасибо... – невпопад за отца поблагодарила Диля, улыбнувшись.

– Сын Амирчон большим человеком в Душанбе стал, начальником больницы! – гордо обвела она взглядом сидящих

вокруг кошмы девочек, и они дружно и уважительно закивали, как будто впервые от бабушки слышали это известие. — А первый мой сын Баходур тоже вот-вот начальником станет. Еще главнее, чем Амирчон, — начальником милиции! Он редко в гости ездит, потому что очень занятой человек. Был три года назад, вместе с женой...

Кинув быстрый взгляд в сторону Дили, бабушка вдруг посуровела и без того твердым морщинистым лицом, подтянула губы ровной узкой скобочкой. Потом вздохнула, произнесла грустно и немного обиженно:

— Хорошая жена у Баходура, настоящая мусульманка... Жаль только, детей родить ему не может. И за что сыну такое наказание послано, Аллах акбар... На, Диля, держи кувшин. Отец будет рад в доме материнский подарок иметь.

Так они с отцом, помнится, с этим кувшином к маме и заявились. Она его даже в руки не взяла. Просто махнула равнодушно рукой — поставьте, мол, где-нибудь... А потом кувшин куда-то исчез, будто и не было его вовсе. Они и не спросили, куда она его пристроила. Привыкли ни о чем не спрашивать. Мама вообще в доме никаких вещей из местного колорита не держала. Такое было чувство, будто сознательно создавала вокруг себя островок из той, прежней жизни. Даже по улицам ходила так, будто она в этом городе случайно оказалась и ждет не дождется, когда надо будет собирать чемоданы да ехать, наконец, на вокзал. Ни буйство уличной зелени, ни ковры из розовых кустов на пло-

щади Озоди и на проспекте Рудаки, ни сам город, живописно взбирающийся уютными улочками по склонам окрестных гор, ни сами горы – ярко-синие по весне и теплые, рыжие поздней осенью – ничего ее взгляда не соблазняло. А разноцветное многоголосье рынка Баракат, куда они делали вылазку по воскресным дням за покупками, вообще ее раздражало страшно. Взгляд становился чужим, немного надменным, лениво скользил сквозь толпу, словно она терпеливо переживала, когда эта неприятная для нее процедура закончится. Так смотрят люди из дальнего ряда партера на плохую театральную постановку – вроде и вслух о своем недовольстве не заявишь, и надо из приличия сидеть, терпеть до конца все действо. Проявлять толерантность. Прятать тоску и душевное неприятие. Хотя как его спрячешь – оно все равно наружу вылезет. Особым выражением лица...

Зато о своей родине, о далеком уральском городе, мама могла говорить часами. О его дождях, о речке, закованной в камень, об ажурном чугунном литье бульварных ограждений, о снегопаде зимой и шуме тополей летом, о березах, о медовых лесных травах. Диля слушала, смотрела в мамин горящие глаза, впитывала в себя каждую мелочь, и в голову ей не приходило спросить: чем же это, например, горные душанбинские травы хуже уральских медовых? Чувствовала, что нельзя спрашивать. Потому как присутствовала в маминых рассказах некая одержимая тоска, отрицающая и синие горы, и розовые кусты на проспекте Рудаки, и настоящий во-

сточный рынок Баракат, вместе взятые. Она впитывала в себя мамину одержимость как некое дочернее обязательство, и душа полукровки маялась внутри, ломалась надвое; одна часть трепетала от уважения к прекрасной маминей родине, и было в этом уважении что-то чудное, сказочно-недоступное, наполненное снегами и березами, а другая страдала от будто бы предательства, совершаемого по отношению к солнечному привычному городу, в котором выросла, в котором ходила в школу, дружила, влюблялась, пыталась получить высшее образование в престижном Российско-Таджикском славянском университете на улице Турсун-заде.

И ссоры родительские Диля переносила тоже болезненно, не понимая до конца, на чьей она стороне. Хотя и нечасто они ссорились – в основном в те дни, когда к ним дядя Баходур заглядывал. Вел он себя так, будто в квартире они с отцом одни были. Да и мама им в компанию нисколько не навязывалась – выходила из кухни с подносом, накрывала на стол и тут же уходила обратно на кухню, плотно прикрыв дверь. И Дилю за собой уводила. Но даже через закрытую дверь Диля слышала, как говорили мужчины на повышенных тонах, как яростно перебивали друг друга – мелькали во фразах имена больших людей, политиков, которые и без того на слуху были, поминались районы Худжанта и Хатлона, Гарма и Горного Бадахшана, и по всему чувствовалось, как дядя Баходур на папу сердится.

– Мам... А чего от папы хочет дядя Баходур? – спрашива-

ла она у матери тревожным шепотом. – Слышишь, как сердится?

– Чего хочет, говоришь? – так же шепотом отвечала мать, заправляя светлую прядь волос за ухо. – А я тебе скажу чего... В общем и целом дядя Баходур хочет, чтобы мы с тобой надели на себя хиджаб. И чтоб больше его никогда не снимали. Скажи, ты хочешь носить хиджаб?

– Не-а. Не хочу. Мне не нравится.

– Вот и я не хочу. Но ему все равно, чего мы с тобой хотим или не хотим. Для него победа исламской оппозиции важнее наших желаний. Поняла?

– А папа чего хочет?

– А наш папа ничего не хочет. Он просто жить хочет, работать, лечить людей. Он не такой, как дядя Баходур. Он даже взятки брать не умеет, папа твой...

Диля посмотрела на нее удивленно, но продолжать диалог не решилась. Потому что не поняла, то ли одобряет мама папино поведение насчет взяток, то ли осуждает. Тем более что мама стала бурчать себе под нос совсем уж непонятно сердитое, и это могло означать только одно – родительской ссоры после ухода дяди Баходура не избежать. Вдруг мама сама развернула к ней гневное покрасневшее лицо, проговорила раздраженно:

– Нет, приходит, главное, сюда, как к себе домой! Хозяин чертов! И ничего с этим не сделаешь! Надоело, надоело мне все это! Господи, да если бы я могла уехать... Если бы мне

было куда уехать...

– А почему... Почему дядя Баходур – как хозяин? Это же наша квартира, мам?

– Да в том-то и дело, что не наша! Это его квартира, он ее на свое имя получил... У него же в городе все схвачено, понимаешь? Большой человек, при должности... Да сволочь он, а не человек! Живем тут из его братской милости... А что делать, раз твой отец... такой? Ничего заработать не может! А ведь тоже, между прочим, при должности! А, да что говорить... – сердито махала она рукой, – так всю жизнь и будет от большого брата зависеть. И ты в университет будешь поступать по его протекции. А иначе и не возьмут, хоть семью пядями ума во лбу светись. Ты же хочешь в университете учиться?

– Хочу...

– Ну, раз хочешь, значит, будешь. Отец брата попросит, и он за тебя похлопочет. И не приставай ко мне сейчас – без тебя тошно...

В Российско-Таджикский славянский университет она после школы действительно поступила. На филологический факультет. Между прочим, самое популярное и престижное в городе учебное заведение – туда вообще просто так попасть трудно, даже на платное отделение. Два курса там проучилась, как будто один день прошел... А на третьем курсе Алишера родила. Весной, в апреле. Как раз через девять месяцев после гибели его отца на Памире. Летнюю сессию уже

не сдавала. Хотела академический отпуск оформить, да как-то не пришлось. Горестные события не позволили. Да если б она знала, что все так обернется...

Дядя Баходур пришел к ним сразу, как их с Алишером из роддома привезли. Стоял долго над детской колыбелькой, всматривался в плоское красноватое личико, напряженно морщил и без того толстое переносье, заросшее черными жесткими волосами. Потом перевел взгляд на отца, мотнул головой в сторону кухни – вроде как для разговора пригласил. И сам пошел первый, уселся там за столом по-хозяйски. Диля видела, как отец напрягся, как потащился за ним вслед понуро. Сидели они там недолго, а потом вдруг сильно ругаться начали. Не спорить на повышенных тонах, а именно ругаться. Вернее, ругался и кричал один дядя Баходур – зло, сердито, – отца из-за этого крика и не слышно было. Потом дверь отлетела в сторону, и дядя быстро прошел в прихожую мимо них с матерью, как мимо двух придорожных камней, хлопнул входной дверью так, что дрогнули перегородки в квартире. А вслед за ним отец из кухни вышел – до зелени бледный, с испариной на лбу. Она сунулась было спросить у него, что там меж ними произошло, да не успела – Алишер от шума проснулся, заплакал громко и тревожно. Так и не успела она отца ни о чем спросить. На следующее утро он, как обычно, ушел в больницу, а к обеду позвонили оттуда, сказали, что скончался от обширного инфаркта. Упал прямо на летучке, и ничего сделать не смогли, даром что больница.

Как мама говорила в таких случаях – сапожник без сапог...

После смерти отца началась у них совершенно другая жизнь, в которой не осталось места ни для Дилиной учебы, ни для маминых толерантных страданий с особым выражением лица. Плохо они жили, бедно. Маму на работу никуда не брали, да и работы, как оказалось, в городе совсем нет. Пришлось Диле идти на поклон к папиному бывшему заместителю, теперь уже главврачу больницы, чтобы придумал для нее хоть какой-нибудь заработок. Да и не могла она дома сидеть, если честно. Слишком уж грызла душу вина, что погубила отца, своевольно распорядившись случившейся беременностью, опозорила его родительскую честь. Вот он и не выдержал. Поэтому с удовольствием пошла на копеечную должность в поликлинику, в регистратуру, а вечерами еще и полы в коридорах мыла. Деньги получались небольшие, но на кое-какую жизнь хватало. Да и все кругом так жили – совсем не богато. Те, кто из России с мигрантских заработков деньги привозили, еще как-то поднимались, родственникам помогали, а у кого такой возможности не было, тянули свою лямку полунящего существования, молясь Аллаху и не ропща особо.

И они тоже не роптали. Алишер здоровым рос, мама занималась с ним с утра и до вечера, вкладывалась душой во внука, как в последний жизненный оплот. Может, и жили бы так еще долго, и Алишера бы вырастили, если бы мама не заболела. Как она говорила – почки надорвались от неподхо-

дящего им климата. Страдала отеками, руки стали дрожать, чуть не падала от слабости, пила таблетки горстями. Образовалась в их жалком бюджете огромная лекарственная брешь, хотя и помогали Диле тайно девчонки-медсестры из больницы, таскали иногда эти таблетки, прикрывая свой профессиональный грех памятью об отце. Случались дни, когда и хлеба не на что было купить.

– Мам... А может, у дяди Баходура помощи попросить? – в один из таких дней, отчаявшись от безденежья, обратилась она к матери. – Он же родственник все-таки, дядя мой родной...

– Нет, дочка. Что ты. Нельзя этого делать, – тоскливо вздохнула мама, разминая пухлые, отекшие кисти рук, – он и раньше нас не особо жаловал, а теперь и вовсе за родню не признает. С квартиры не гонит, и на том спасибо. Не тревожь черта, он и рогов не подымет.

– Ну почему, мам? Помнишь, он приходил, когда Алишер родился? Он так на него смотрел... Может, он для Алишера даст?

– Ох, глупая ты какая, Дия... Глупая и наивная! Да ты хоть знаешь, зачем он тогда приходил? Он же Алишера забрать хотел!

– Как это – забрать? Куда – забрать?

– Себе, куда... У него же своих детей нет, вот он и предложил отцу... Тебя же, говорит, все равно, мол, дочь опозорила, так я вроде того семейный грех и прикрою. Отец ему от-

казал конечно же. Помнишь, каким он тогда сердитым ушел? А на похоронах и близко ко мне не подошел, будто и нет меня, и никогда не было. И тебя тоже. Так что не вздумай, доченька, ему звонить...

Умерла мама неожиданно. Хотя смерть близких всегда случается неожиданно, и в то последнее утро Диля ничего такого не почувствовала, убежала на работу, чмокнув ее в оплывшую щеку.

А вечером, открыв своим ключом дверь и услышав из комнаты жалобное, заходящееся на одной ноте Алишерово поскуливание, как-то сразу все поняла, и подкосились колени, и полоснуло по сердцу страхом, и не было никаких сил сделать два шага через прихожую и войти в комнату...

Похоронили маму скромно, в основном за счет больницы. На поминках почему-то говорили больше об отце, как будто второй раз его хоронили. Алишер жался к ней испуганно, уклоняясь от сердобольных рук, опускал голову в пол, когда его спрашивали о чем-нибудь. Да и не мог он толком ответить – плохо понимал таджикскую речь. Мама с ним только на русском говорила, и сказки русские с младенчества читала, и Пушкина с ним учила, и так же, как ей когда-то, без конца рассказывала про далекий уральский город, белые березы и чистое поле с медовыми травами. И никак ей внушить было нельзя, что зря она это делает, что в школе ребенку все равно бы пришлось на таджикском общаться. Мама только рукой от нее отмахивалась, как от надоедливой мухи.

Будто чувствовала чего.

Вскоре после маминых похорон пришел к ним дядя Баходур. Уселся в комнате на диване, отер потный лоб, поманил к себе рукой Алишера. Мальчишка подошел с пугливой готовностью, но глянул довольно открыто, улыбнулся даже. Дядя расплылся в ответной улыбке, притянул его к себе, похлопал широкой ладонью по спине. Потом вытащил крупную купюру из нагрудного кармана, протянул Алишеру:

– На. Иди купи себе чего-нибудь в магазине. Чего захочешь. У вас в доме на первом этаже магазин есть, знаешь? Ты умеешь сам в магазине покупать?

– Умею... А можно, я маме подарок куплю?

– Ну, как хочешь... Иди, деньги твои. А мы тут с мамой поговорим немного.

Проводив Алишера и строго-настрого наказав ему во дворе не задерживаться, Дия прошла в комнату, села напротив дяди, скромно сложив руки на коленях.

– Так о чем вы со мной хотели поговорить?

Дядя поднял на нее желтоватые мутные глаза, помолчал, потом проговорил довольно жестко:

– Да ни о чем я не собираюсь с тобой говорить. Я вообще-то за мальчиком пришел. Завтра поедем, оформим на меня все документы.

– То есть как? Я не поняла...

– А тебе и понимать нечего. Ты одна его все равно не вырастишь. А со мной ему хорошо будет. У меня своих детей

нет, воспитаю, как родного сына. В нашей вере. Образование самое лучшее дам, денег дам, возможности дам... Все, что у меня есть, все его будет.

– Простите... А как же... А как же я?

– А что – ты? Ты радоваться должна, что я тебя на свободу отпускаю. Откажешься от ребенка, и живи себе.

– Что значит – живи себе? Он же мой сын!

– Ну и что? Был твой, станет мой. Парню отец нужен. Да ты не волнуйся, у меня хорошая жена, она его не обидит. Я уже ее предупредил. Так что, оформляться поедem? У тебя документы где?

– Послушайте... Послушайте! Вы... Вы что вообще себе позволяете? Как это – взять и отдать в чужие руки ребенка? Отказаться от него и жить спокойно? Он же мой сын!

– Ладно, я понял. Не кричи. По-хорошему ты не хочешь. Я понял. Придется поступать с тобой по-плохому. А мне бы этого не хотелось. Как ни крути, а все-таки ты моя племянница.

– И как это – по-плохому?

– Ну, разные варианты есть... Хотя бы на наркотиках тебя поймать, например. Могу это устроить. Ни одна прокурорская собака к делу не привяжется. Можно из квартиры выгнать. Куда ты пойдешь? Идти тебе, кроме меня, некуда. Так что соглашайся сама, другого выхода у тебя нет.

– Дядя Баходур, что вы, опомнитесь... Какие наркотики? Не надо так со мной, дядя Баходур. Пожалейте. Он же мой

ребенок, я не смогу без него. Ну зачем он вам? Он меня любит...

– Так. Опять мы по старому кругу пошли. А у меня, между прочим, время дорогое. Я человек занятой. Целых пятнадцать минут тут с тобой беседую.

– По маме через неделю сорок дней будет... Дайте мне поминальный ужин провести, а потом... Потом мы к разговору вернемся.

Он глянул на нее подозрительно, сощурил узкие глаза в набухших отечных веках. Помолчав, шлепнул ладонями по толстым, обтянутым милицейскими форменными штанами ляжкам, проговорил довольно покладисто:

– Что ж, хорошо. Мать помянуть – дело святое. И тебе время будет все обдумать. Только помни одно – я так решил, и точка. Ты поплачь, смирись, мальчика приготовь. Значит, через неделю?

– Да. Через неделю.

Проводив его до двери, она вернулась в комнату, огляделась растеряннo, не зная, за что схватиться в первую очередь. То ли вещи в чемоданы скидывать, то ли знакомых обзванивать, чтобы денег на дорогу занять. Хотя – стоп. Кто это ей денег на дорогу даст? Никто и не даст. Правда, немного своих есть – на мамины сорок дней откладывала. Придется уж не поминать и ужина не устраивать – и мама простит, раз такое дело. Неделя, неделя! У нее есть неделя. Надо сесть, успокоиться, все решить. Это понятно, что надо бежать. А

деньги... Надо побыстрее распродать все вещи, и дело с концом! Если продавать совсем дешево, то быстро могут купить. Обежать соседей, позвать к себе, пусть забирают, что кому понравится. Ковер, диван, стенка, холодильник, телевизор... Ничего, наберется денег, и на билеты хватит, и на первое время. Бежать, бежать! В далекий уральский город, на мамину родину, другого выхода нет! А первым делом надо все бумаги пересмотреть, определиться с документами...

Пришедший из магазина с полным пакетом вкусок Алишер застал ее сидящей на полу среди вороха бумаг. Она и не увидела его, вся погрузившись в разглядывание старой открытки с веткой сирени, держала ее в руках, как добычу, лихорадочно поедая глазами синие, расплывшиеся от времени строчки.

– ...Мам! Ты как? Ты уже отдохнула? Может, пойдем? А то холодно. Смотри, снова дождь пошел...

Алишеров жалобный голосок ударил упреком, и она резво соскочила со скамьи, принялась отряхивать себя так старательно, будто накатившая свежей памятью недавняя жизнь оставила на коже, на волосах, на одежде свои следы. Какая коварная штука – эта свежая память! Чуть зазеваешься – вытягивает в себя, как удав кролика. Нет, ни к чему ей это сейчас, потому что не осталось от той, прежней жизни уже ни капельки. Теперь она заново должна начаться. Здесь. Хочешь не хочешь, а должна, и все тут. Тем более этот город

ей вовсе не чужой. Она тоже имеет на него хоть маленькое, но свое право. А ради этого можно даже именем своим пожертвовать, которое, как папа говорил, переливается на языке колокольчиком – ди-ля, ди-ля... Все! Хватит. Больше не переливается. И никакая она больше не Диля. Она Дина, и все тут. Темноглазая, почти русская брюнетка Дина со смуглым лицом. Да, со смуглым! Кому какое дело? Может, оно от того смуглое, что брюнетка Дина из дорогого солярия сутками не вылезает? У нее, в конце концов, на лбу не написано, что она по отцу азиатка и только что из Душанбе приехала...

– Идем, идем, сынок! Я готова. Бери сумки...

Даже рука у нее не дрогнула, когда потянулась к дверному звонку. Молодец, рука! И внутри тоже была странная уверенность, что ей непременно должны открыть. И вроде как даже обрадоваться должны ее приезду, что было совершеннейшей уже наглостью с ее стороны. В самом деле, с чего это неведомая Таня Деревянко должна ей обрадоваться? Здравствуйте, нате вам, я Диля из Душанбе, дочка вашей подруги Маши? Смешно. Ну и пусть будет смешно. Все равно больше деваться некуда.

С той стороны двери прозвучали торопливые шаркающие шаги, и она бодро вскинула голову, выпрямила спину, улыбнулась не очень широко, а так, слегка. Зубы у нее, конечно, были красивые, но широкая улыбка лицу не шла, делала его простоватым. Хотя в данной ситуации, может, оно и лучше – выглядеть совсем уж простушкой.

Женское лицо, возникшее в проеме двери, тоже было не очень сложным. То есть обыкновенное совсем было лицо. Бледное, одутловатое, с обвисшими круглыми щечками. Голубые блеклые глаза смотрели удивленно и с ожиданием, словно готовились принять вежливое – извините, мол, дверью ошиблась. Дия сделала то-роп ливое глотательное движение, потом набрала в грудь воздуха и чуть не закашлялась – она узнала, узнала ее! Это была именно та самая Таня Дервянко с черно-белой маминой фотографии, только сильно постаревшая. Значит, никуда не переехала. Уже удача. Можно сказать, огромнейшая для нее удача.

– Здравствуйте, а я к вам... – сипло произнесла она, одновременно пытаясь улыбнуться и подавить противный спазм в горле.

– Ко мне? – удивленно моргнула женщина. – А... вы кто?

– Я дочка Марии Федоровны Коноваловой... Вы же ее помните? Ну, Маша... Вы ей письма писали в Душанбе. Я вас узнала по фотографии! Вы же Таня Дервянко, да? Ой, то есть... А как мне вас правильно называть? Тетей Таней, да?

– Погоди, погоди... – оторопело моргнула редкими ресничками постаревшая Таня Дервянко, – что-то я ничего не понимаю... Ты из Душанбе, что ль, прилетела?

– Ну да, конечно! Только не прилетела, а приехала. На поезде. Трое суток в дороге провели. А вот Алишер, сын мой. Она поддернула за руку Алишера, и он встал перед ней,

подняв круглое личико на женщину и улыбаясь ей щербатым от выпавших молочных зубов ртом.

– Ага, Алишер, значит... Маша писала, что ты им с Амирчоном собираешься внука родить. Аккурат от нее последнее письмо тогда и пришло. Больше не писала.

– Это потому, что папа умер...

– Как – умер? Да ты что? Амирчона уж и в живых нет? Надо же, а я и не знала...

– И мама тоже умерла. Месяц назад.

– Ой, господи... Свят, свят, царствие небесное...

Женщина трижды торопливо перекрестилась, потомглянула на нее в ожидании, будто ждала, что, сообщив свои грустные новости, Диля попросится и уйдет восвояси. А может, ей очень хотелось, чтобы она ушла. Вздохнув и, видно, преодолев в себе что-то, она быстро отступила на два шага назад, распахнула дверь пошире:

– Заходите... Что ж мы в дверях-то? Я сейчас пойду на стол соберу.

– Да вы не беспокойтесь! Мы к вам ненадолго. Понимаете, нам пока с Алишером совсем идти некуда, но я постараюсь быстро устроиться... – на одном дыхании протараторила Диля, быстро втаскивая в прихожую чемодан.

– Погоди... Так ты не в отпуск, что ли?

– Нет, тетя Таня, не в отпуск. Я насовсем. Но я правда быстро устроюсь, я завтра же пойду...

– Хм. Хм! Ну ладно... Потом поговорим. А сейчас да-

вай-ка мальчонку в горячую ванну засунь, он у тебя трясется весь от холода. Вон, и курточка вся промокла. Не дай бог, заболит. У нас тут не Душанбе.

– Хорошо. Спасибо.

– А вещи вон в ту комнату отнеси. Там дочка моя раньше жила, теперь замуж вышла, второй раз уже. Представляешь, внука мне подарила на старости лет...

– Да на какой старости? Вы еще и не старая вовсе! Мама тоже еще не старая была.

– Да, жалко мне Машу... Несчастливая она, ни в чем ей судьба задаточка не послала, одно только страдание. С Амирчонком-то они как жили? Не обижал он ее? А то в письме всего не напишешь...

– Папа? Нет, не обижал... Что вы! Он очень любил ее!

– То-то и оно, что любил... А ей каково было?

– В каком это смысле? – озадаченно повернулась к ней Диля, держа в руках влажную Алишерову курточку. – Что вы имеете в виду?

– Ладно, потом поговорим. Иди купай мальчонку. Я там полотенце чистое положила.

Пожав плечами и улыбнувшись, Диля закрыла за собой дверь в ванную, пустила на всю мощь воду. Обернувшись к Алишеру, подмигнула ему ободряюще:

– Сейчас согреешься, сынок... Тебе с пеной сделать? Погоди, сейчас...

Пошуровав по полочкам, она пожала плечами, протянула

растерянно:

– Ой, а тут и пены никакой нет, и геля для душа тоже нет... Ничего такого нет, пожалуй. Одно мыло. Плоховато, видать, наша тетя Таня живет.

Она вздохнула, огляделась, словно пытаюсь утвердиться в своем предположении о хозяйской бедности, которая сразу в глаза и не бросалась по причине глобальной чистоты, доведенной до уровня больничной дезинфекции. Но если внимательно приглядеться... Ванна, например, вычищена до блеска, но и протерта практически до самого чугунного основания – в некоторых местах уже видны, как проплешины, черные островки. Кафель беленький, от времени матовый – тоже со времен царя гороха положен, и зеркало в него над ванной вделано, половина потекла блеклой патиной, аккурат в том месте, куда вода из душа попадает. Наверное, лет тридцать – сорок назад это сильно круто было – в кафель над ванной для себя зеркало вставить. Чтобы, значит, принимающая душ молодая хозяйка могла своими формами любоваться. Формы потом с годами расплылись и исчезли, а бедное зеркало, выходит, неприкаянным осталось? Вынуждено отражать то, что отраженным быть вовсе не желает? А полотенце... Аж бросается в глаза яркой белизной! Но кажется, тронь рукой, и рассыплется на ниточки от ветхости. Да уж, совсем, видно, не желанные они тут с Алишером гости, при такой бедности...

Вздыхнув, Диля потрогала воду рукой, подтолкнула маль-

чишку к ванне:

– Давай залазь...

– Мам, ты иди, я сам помоюсь! Я же не маленький!

– Ага. Давай. А я пойду с тетей Таней посижу, сильно у нас разговор интересный начался...

Осторожно пытаюсь вытереть руки о ветхое полотенце, она застыла на секунду перед зеркалом, потом вдруг спросила тихо, неожиданно для самой себя:

– Алька... А скажи мне, только честно... Я больше на таджичку похожа или на русскую?

Алишер поднял на нее из ванны мокрое лицо, мотнул головой, отфыркиваясь, проговорил звонко:

– Ты похожа на русскую таджичку, мам!

– Да ну тебя! Так же не бывает!

– А почему?

– Ну... Не бывает, и все!

– Тогда ты будешь первая русская таджичка! Здорово, правда?

– Да уж... Скажешь тоже – здорово... А чего во мне больше? Русского или таджикского?

– Не знаю, мам... Ты такая красивая, что я прямо не знаю, что и сказать!

Выпучив глаза и надув щеки, он с размаху ушел под воду, обдав ее теплыми брызгами. Диля шарахнулась было к двери, но потом снова придвинулась к зеркалу, резко и быстро в него глянула, так, будто пыталась увидеть свое лицо с

другой стороны, не привычным собственным глазом, а чужим, равнодушным и беспристрастным. Так, и что этот глаз видит? Только беспристрастно, абсолютно беспристрастно и по-честному! А видит он, во-первых, южную, немного с грязноватым оттенком смуглость. Сразу эта смуглость вперед бросается. Это уже навсегда, наверное, это ничем не выведешь. Но опять же действительно можно на увлечение солярием списать. С большой натяжкой, конечно, но можно. Так что окончательным и отличительным признаком быть не может. Дальше у нас что? А дальше – глаза и брови. Тоже, кстати, в данном случае слияния признаков не наблюдается. Ни в ту, ни в другую сторону. Потому что глаза у нее маминны, русские, ни в какую степь не раскосые, а брови, наоборот, чисто таджикские, взлет, черные и к переносице сросшиеся. Отцовы брови. Породистые. Никакому выщипыванию не поддающиеся. Она как-то пробовала хотя бы с переносицы черные волоски убрать, но кожа воспротивилась таким сильным раздражением, что до врача дело дошло. С тех пор она к этой процедуре и не возвращалась.

Дальше что? А дальше у нас нос. А что нос? Вполне для азиатского лица аккуратненький, даже курносый малость. И щеки гладкие, без мягких выпуклостей. И скулы высокие. И небольшой, но достаточно жестко очерченный рот. Говорят, что такая твердая складка губ – чисто азиатский признак. Нет, все-таки она больше на таджичку похожа. На Дилфузу Салохову. Явно папина природа тут верх взяла. И уж никак

на русскую брюнетку Дину не тянет...

– Мам! Я придумал! – вынырнув из воды и снова обдав ее брызгами, звонко пропищал Алишер, отфыркиваясь. – Тебе надо волосы в рыжий цвет покрасить! И веснушки на носу нарисовать! Тогда ты будешь похожа на Катькину маму из соседнего подъезда, помнишь? Которая вместе с Катькой в прошлом году в Россию уехала!

– Да помню, помню я твою Катьку... И маму ее помню. Им-то чего, у них как раз все хорошо получилось! Они ж не куда-нибудь, они к Катиной мамы родителям уехали, в свой домик под Саратовом. А нас с тобой никто нигде не ждет. Ни с домиком, ни без домика. Ладно, давай мойся уже, хватит нырять! И аккуратнее, пол водой не залей!

Выйдя из ванной, Диля втянула в себя сытный, прилетевший из кухни запах жарящейся картошки, постояла немного в узком коридорчике, страдая от снова появившегося внутри чувства крайней неловкости. В самом деле, свалилась бедной женщине на голову. Она ж не виновата в том, что дружила и переписывалась с ее мамой! С ней-то, с Дилей, она ж не дружила и никогда не переписывалась...

– Диля! Я здесь, на кухне! Чего ты там в коридорчике жмешься? Иди сюда! – довольно миролюбиво, даже почти ласково позвала ее из кухни хозяйка. И улыбнулась тоже весьма приветливо, повернувшись от плиты, когда Диля робко вошла и присела на хлипкий тонконогий кухонный стульчик.

– Пахнет очень вкусно... Это картошка, да?

– Ага. Картошка. Ой, батюшки светы... – вдруг прижала она испуганно ладошку ко рту, обернувшись на Дилю, – а я картошку-то на свином сале жарю, и не подумала... А вам, поди, нельзя...

– Можно, тетя Таня. Нам все можно.

– Так это... Ты не в мечеть, что ли, ходишь?

– А я вообще никуда не хожу. Так уж получилось. Мама хотела меня окрестить, а папа не дал. А мама ему в отместку меня в мечеть не отпустила. Так и выросла я посередке нехристью, ни там ни сям.

– Так плохо это...

– Я знаю, что плохо. Давно мне уже пора к одному берегу пристать. Надеюсь, на этом берегу мне больше повезет.

– Ой, не знаю, девка... Так ли хорошо ты все задумала...

– Может, и не хорошо. А только выхода у меня больше не было. Обстоятельства так сложились. Надо здесь как-то устроиваться. Может, вы мне поможете... Ну, я не знаю... Хотя бы первые шаги сделать?

– Так чем я тебе помогу, матушка? Я уж, считай, почти старуха... Пять лет уж как на пенсии. Живу бедно, влиятельных знакомых не имею... Какая я тебе помощница? Тем более уезжаю я завтра. Дочка меня зовет, хочет, чтобы я с внуком повозилась. Ты, конечно, живи, пока меня не будет... Где-то с месяц примерно. А там уж не обессудь...

– Спасибо, тетя Таня! Большое вам спасибо!

– Да не за что... Мне же и спокойнее за квартиру будет. Надеюсь, не обокрадешь меня, старуху? Да ладно, не вскидывайся, верю, верю... Ты ж мне не чужая.

– Спасибо, тетя Таня. А только... У меня еще одна проблема есть. Я еще вас хочу попросить... В общем...

– Да говори, не мнись! Все, что в моих силах, сделаю.

– Понимаете, по миграционному закону мне здесь официально зарегистрироваться надо. В течение трех дней. Иначе я буду просто нелегальной мигранткой, понимаете?

– Прописаться, что ль? Штампик в паспорте поставить? Нет, это я не могу, не обессудь...

– Нет, нет! Не надо прописывать! Просто зарегистрировать меня, и все! Хотя бы на три месяца! Чтоб милиция на улице не придиралась! А потом я работу найду и жилье какое-нибудь подыщу... Мне без регистрации никак нельзя, тетя Таня...

– Хм... Ну ладно. А куда надо идти, чтоб тебя зарегистрировать? В паспортный стол, что ли? Так у нас там всегда очередь. Я ж говорю – мне к дочке ехать надо!

– Нет! Нет! Можно это и на почте сделать! Я знаю, как это. Я спрашивала у тех, кто сюда на работу ездил! Там надо бланк специальный заполнить и отправить в миграционную службу, а на почте корешок дадут. И все. И никакого штампа в паспорте.

– Что ж, ладно, коли так. Завтра утром и сходим. Эх, горюшко ты мое горемычное... Одна, без отца-матери, с ди-

тем... Ладно, дай тебе Бог помощи да удачи. А работать ты чего умеешь? Специальность у тебя есть какая?

– Нет. Я университет не закончила. А работала в регистратуре в папиной больнице.

– Что ж, не богато... Ладно, надо соседок вечером поспросить, может, и найдется какая для тебя работа. Можно бы и в больницу мою сходить, где я медсестрой до пенсии двадцать лет стажу отпахала, да у меня там знакомых уже никого не осталось. Эх, не вовремя я уезжаю...

– Да я устроюсь, тетя Таня, обязательно устроюсь! Я сама! Спасибо вам, что в регистрации не отказали, а дальше – я сама!

Подскочив с места, она радостно рванула в ванную, откуда донесся на кухню слабый голосок Алишера. Выхватила его из воды, прижала к себе, мокрого и горячего, расцеловала в круглые щеки.

– Мам, ты чего? Я же мокрый! Дай полотенце, я завернусь!

– Полотенце... Ах да, полотенце! Сейчас...

– А ты чего такая радостная, мам?

– А отчего нам грустить, сынок? Все у нас будет хорошо! Главное, мы вместе, правда? Сейчас картошку жареную есть будем! На свином сале!

– А это вкусно?

– Вкусно, сынок. Здесь все время картошку жареную едят, ты привыкай. Тебе понравится. А если не понравится, виду не подавай, понял?

– Ага, понял...

После горячего купания и сытного обеда мальчишку начало клонить в сон, и Диля едва успела подхватить его, пока он не клюнул носом в опустевшую тарелку. Отнесла на руках в маленькую комнату, уложила на старый диван, недовольно скрипнувший под легким телом ребенка. Вернувшись на кухню, уселась перед недопитой чашкой травяного чая, очень странного на вкус, отдающего крепкой запашистой горчинкой.

– Я туда иван-чая добавляю, говорят, для живота полезно. А что горчит – так это ничего. Вся наша жизнь не шибко сахарная получилась. И у меня, и у мамы твоей...

– Да, кстати, про маму, тетя Таня. Вы так интересно выразились, когда я сказала, что папа маму всегда любил... Вроде как для мамы это не совсем хорошо было. В общем, не поняла я.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.